

ВСТУПЛЕНИЕ

Дата, к которой следует отнести описанные здесь события, это десятилетие между 1840 и 1850 годами. В это время старинный курорт, названный здесь Бедмутом, сохранял еще отблески того ореола веселья и аристократизма, которым был осенен в Георгиансскую эпоху, и мог безраздельно пленить романтическую душу и тылкое воображение одинокой обитательницы каких-нибудь более далеких от берега и глухих местностей.

Под общим именем Эгдонской пустоши, которое мы придали сумрачному краю, где разыгрывается действие романа, объединено не меньше десятка подобных же вересковых пустошей, носящих разные названия; они действительно едины по характеру и виду, хотя их первоначальное единство сейчас несколько замаскировано вторжением полос и клиньев с разным успехом возделанной земли или лесных насаждений.

Приятно помечтать о том, что где-то на этом обширном пространстве, юго-западная четверть которого здесь описана, находится и та вересковая степь, по которой некогда блуждал легендарный король Уэссекса — Лир.

Т. Г.

Июль 1895 года

Постскриптум

Чтобы уберечь от разочарования любителей посещать помянутые в литературе места, считаю нужным добавить, что, хотя действие происходит в центральной и наиболее уединенной части всех этих пустошей, слитых, как сказано выше, в одну, некоторые топографические особенности, подобные здесь описаным, встречаются в действительности по ее краю, за много миль к западу от центра. Да и в других случаях мы нередко сближали разбросанные по значительному пространству черты.

В ответ на многочисленные вопросы упомяну также, что имя героини — Юстасия — было именем жившей в царствование Генриха IV владелицы мэнора Оуэр-Монь, к каковому приходу относилась и часть той местности, которая в романе описана как Эгдонская пустошь.

Впервые этот роман был опубликован в трех томах в 1878 году.

Т. Г.

Апрель 1912 года

КНИГА ПЕРВАЯ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

ГЛАВА I

Лицо, на котором время оставляет мало следов

Ноябрьский день близился к сумеркам, и обширное пространство неогороженной и поросшей вереском и дроком земли, известное под названием Эгдонской пустоши, с каждой минутой становилось все темнее. Высоко над головой легкие беловатые облака сплошь закрывали небо, словно шатер, полом которого была вся бескрайняя вересковая степь.

Небо, затянутое этим бледным пологом, и земля, одетая более темной растительностью, разделялись на горизонте резкой пограничной чертой. И в силу этого контраста вересковая степь казалась достоянием ночи, водворившейся здесь еще раньше, чем наступил ее астрономический час; здесь, внизу, уже сгущался ночной сумрак, тогда как в небе еще невозбранно царил день. Поглядев вверх, поселянин, занятый резкой дрокой, склонен был бы продолжать работу; поглядев вниз, он решил бы, что пора увязывать свою вязанку и идти домой. Дальние закраины земли и небосвода, казалось, были разделом во времени не менее, чем разделом в мире вещественном. Лик вересковой пустоши одной своей окраской мог на полчаса приблизить вечер; и точно так же он властен был отдалить рассвет, опечалить полдень, загодя подать весть о едва лишь зарождающихся грозах и непроглядность безлунной ночи обратить в нечто вызывающее жуть и трепет.

Именно этот переломный час перед нисхождением в ночную темь был часом торжества Эгдонской пустоши, когда она облекалась в особую, одной ей присущую красоту — и тот, кто не видал ее в это время, не может утверждать, что сколько-нибудь ее понял. Ее лучше чувствуешь, когда она не слишком отчетливо видна; в сумерки и перед рассветом она сильнее воздействует на человека и свободнее раскрывает себя; тогда и только тогда она расскажет вам свою подлинную повесть. Об Эгдонской степи по справедливости можно было бы сказать, что она в близком родстве с ночью; и при первом же приближении ночи ясно проявлялось их взаимное тяготение. Все это тусклое пространство, с его буграми и впадинами, словно вздыпалось и дружественно тянулось к вечерней мгле; вереск источал темноту так же быстро, как небеса ее роняли. И мрак воздуха, и мрак земли сливались в угрюмом братанье, встречая друг друга на полпути.

В этот час Эгдон вдруг оживал, исполняясь чуткого, настороженного вниманья. Когда все остальное никло и клонилось в сон, вересковая степь словно бы пробуждалась и начинала прислушиваться. Каждую ночь ее таинственная ширь, казалось, чего-то ждала; но уже столько веков ждала она все так же безучастно среди всех свершившихся в мире переворотов, что поневоле думалось: она ждет единственного последнего переворота — конечного уничтожения.

Те, что любят ее, всегда вспоминают о ней с чувством какой-то умиротворяющей внутренней близости. Улыбчивые долины, цветущие поля и полные плодов сады не вызывают такого чувства, ибо соглашаются только с жизнью более счастливой и более окрыленной надеждами, чем наша нынешняя. Из сочетания сумерек и ландшафта Эгдонской степи возникал образ торжественный без суровости, выражи-

тельный без показной яркости, властный в своем спокойствии, величавый в своей простоте. Те же свойства, которые фасаду тюрьмы нередко придают достоинство, какого мы не находим в фасаде дворца вдвое большего по размеру, сообщали этой вересковой пустоши величие, чуждое прославленным своей живописностью местам. Смеющиеся пейзажи хороши, когда жизнь нам улыбается, но что, если она нерадостна? Люди гораздо больнее страдают от насмешки слишком веселого для их мыслей окружения, чем от гнета чрезмерно унылых окрестностей. Мрачный Эгдон обращался к более тонкому и реже встречающемуся чутью, к эмоциям, усвоенным позже, чем те, которые откликаются на общепризнанные виды красоты, на то, что называют очаровательным и прелестным.

Да и кто знает, не идет ли уже к закату безраздельное господство этого традиционного вида красоты? Не будет ли новой Темпейской долиной какая-нибудь безлюдная пустыня в дальних краях Севера? Мы все чаще находим нечто родственное себе в картинах природы, отмеченных угрюмостью, которая отталкивала людей, когда род человеческий был юным. И может быть, близко время, если оно еще не наступило, когда только сдержанное величие степи, моря или горного кряжа будет вполне гармонировать с душевным строем наиболее мыслящих из нас. Так что в конце концов даже для рядового туриста такие места, как Исландия, станут тем, чем для него сейчас являются виноградники и миртовые сады Южной Европы, и он будет равнодушно оставлять в стороне Гейдельберг и Баден на своем пути от альпийских вершин к песчаным дюнам Схевенингена.

Самый строгий аскет мог бы со спокойной совестью прогуливаться по Эгдонской пустоши; открывая душу таким влияниям, он оставался бы в пределах законных для него удовольствий. Ибо краски столь

приглушенные и красоты столь смиренные, бесспорно, принадлежат каждому по праву рождения. Только в самые солнечные летние дни Эгдон озарялся каким-то слабым подобием веселья. Сила была и ему доступна, но источником этой силы бывал не блеск, а сумрак; и высшей своей точки она достигала во время зимних бурь, среди тьмы и туманов. Тогда Эгдон одушевлялся ответным чувством, ибо буря была его возлюбленной и ветер его другом. Тогда его насылали странные призраки; и мы вдруг узнавали в нем прообраз тех диких областей мрака, которые смутно ощущаем вокруг себя в полночных снах, где все грозит гибелью и понуждает к бегству. Проснувшись, мы уже никогда о них не думаем, пока такое зрелище, как зимний Эгдон, не воскресит их в памяти.

Но сейчас, в осеннюю пору, Эгдонская пустошь казалась вполнеозвучной человеку. В ней не было ничего мертвенногого, отпугивающего, уродливого, не было и ничего банального, вялого, обыденного; она была как человек, несправедливо обиженный и терпеливо сносящий пренебрежение; и вместе с тем какая-то грандиозность и таинственность была в ее смуглом однообразии. И так же, как человек, слишком долго живший вдали от людей, она несла на себе печать отъединения. У нее было одинокое лицо, говорившее о трагических возможностях.

Этот заброшенный, безвестный, темный край упоминается в Книге Страшного суда. Он описан там как дикая степь, поросшая вереском, дроком и терновником — «Бруария». Дальше дается ее длина и ширина в лигах, и хотя точная величина этой старинной меры не установлена, все же из приведенных цифр можно заключить, что площадь Эгдона за все это время не намного сократилась. «Турбария Бруария» — термин, означающий право резать вересковый торф — встречается в хартиях, относящихся к тамошнему округу.

«Заросшая вереском и мхом» — говорит Леланд об этой пустынной полосе земли.

Это уже ясные указания на характер ее тогдашнего ландшафта — достоверные свидетельства, способные удовлетворить исследователя. Каков Эгдон сейчас, таким он был всегда — непокорным и отверженным изгнем. Цивилизация была его врагом; и с тех самых пор, как на земле впервые появилась растильность, он всегда носил одну и ту же древнюю коричневатую одежду, естественный и неизменный покров определенной геологической формации. В его верности этому единственному одеянию как бы заключена сатира на человеческую склонность тщеславиться своими нарядами. На этих вересковых склонах человек в платье современного покроя и расцветки выглядит странно и нелепо. Там, где одежда земли так первобытна, и человека хочется видеть в самых древних и простых одеждах.

В этот промежуток между днем и ночью особенно хорошо было посидеть, прислонясь к терновому пню, в широкой котловине, занимающей середину Эгдонской пустоши. Отсюда взгляд не проникал дальше замыкающих кругозор гребней и скатов, и мысль, что все вокруг и под ногами с доисторических времен оставалось столь же неизменным, как звезды над головой, служила своего рода балластом для сознания, расколебленного волнами перемен и натиском неугомонной новизны. В этой от века нетронутой земле чувствуешь такое постоянство и такую древность, на какую даже море не может притязать. В самом деле, можно ли о каком-нибудь отдельном море сказать, что оно древнее? Солнце испаряло его, луна месила его, как тесто, оно обновлялось с каждым годом, с каждым днем, даже с каждым часом. Моря сменялись, поля сменялись, реки, деревни, люди сменялись, но Эгдон пребывал. Его горы были не настолько круты,

чтобы подвергаться выветриванию, его низины не настолько плоски, чтобы на них могли отлагаться паводочные наносы. За исключением старой проезжей дороги и еще более старого кургана, о которых еще будет речь и которые за долговременное свое существование сами словно бы откристаллизовались и стали продуктом природы, все прочие, даже небольшие неровности почвы, были произведены здесь не киркой, плугом или лопатой и возникли не на память людской, но сохранялись издревле как доподлинные отпечатки пальцев последнего геологического переворота.

Упомянутая проезжая дорога пересекала сравнительно низменную часть Эгдона от одного края горизонта до другого. Местами она накладывалась на старинный проселок, отходивший где-то невдалеке от Великого западного пути римлян, известного в истории как Виа-Икениана, или Айкенилд-стрит. Добавим еще, что в тот вечер, о котором пойдет рассказ, хотя сумрак и стирал уже менее резкие черты эгдонского ландшафта, белая лента дороги была видима почти так же ясно, как днем.

ГЛАВА II

На сцене появляется человек и с ним тревоги

По дороге шел старик — белоголовый, как гора, согбенный в плечах и весь какой-то поблекший. На нем была клеенчатая шляпа, старый бушлат с якорями на медных пуговицах, башмаки. В руке он держал трость с серебряным набалдашником, которой пользовался, как настоящей третьей ногой, на каждом шагу тыча ею в землю, так что позади оставался частый пунктирный след. С первого же взгляда всякий признал бы в нем бывшего морского офицера.

Перед ним простиралась длинная томительная дорога, сухая, безлюдная, белая. Она ничем не отделялась по бокам от примыкающего к ней вереска и прорезала всю эту обширную темную равнину, как узкий пробор на черноволосой голове, сужаясь постепенно и чуть загибаясь к далекому горизонту.

Старик часто всматривался в даль, как бы измеля расстояние, которое ему еще предстояло пройти. Под конец он различил далеко впереди движущуюся точку, — очевидно, какой-то экипаж, ехавший в том же направлении, куда и старик держал свой путь. То был единственный атом жизни во всей этой темной, немой степи и только подчеркивал ее пустынность. Он двигался медленно, и старик мало-помалу нагонял его.

Приблизившись, он увидел, что это фургон, обычновенный по форме, но совершенно необычный по цвету, так как весь он был зловеще-красный. Возница шел рядом, и он тоже, как и его фургон, весь был красный с головы до ног. Одна и та же густая краснота без всякой разницы в оттенках покрывала его одежду, шапку на голове, башмаки, лицо и руки. И это была не случайная, временно наложенная окраска — он был ею пропитан.

Старик понял, что это значит. Перед ним был охряник — разъездной торговец, снабжавший окрестных фермеров охрой для их овец. Представители этой быстро вымирающей в Уэссексе профессии занимают в современном сельском мире такое же место, какое за последнее столетие дронт занимал в мире животном. Любопытное и сейчас уже почти утерянное звено между отживающими формами быта и теми, что приходят им на смену.

Дряхлый моряк наконец поравнялся с ним и по здоровался. Охряник повернул голову и отвечал ему тем же, но как-то рассеянно и невесело. Он был мо-

лод, и, как ни портила его странная окраска, все же, взглянувшись в его лицо, никто бы не усомнился, что в естественном своем виде оно было красиво. Глаза его, так странно высматривавшие из багровой маски, сами по себе были очень хороши — пронзительные, как у хищной птицы, и синие, как осенний туман. Он не носил ни усов, ни бороды, и ничто не скрывало мягких очертаний его рта и подбородка. Губы у него были тонкие и сейчас крепко сжатые, словно он о чем-то неотступно думал, но в уголках иногда шевелилась затаенная улыбка. Одет он был в плотно облегающий плисовый костюм хорошего покроя и отличного качества, не слишком поношенный, хотя и утративший свой первоначальный цвет от постоянного соприкосновения с краской. Эта удобная для работы и ловко сидящая одежда выгодно оттеняла его статную фигуру. Да и вообще что-то в его манерах и облике говорило о благосостоянии, — очевидно, для своего положения он был далеко не беден. И, глядя на него, всякий невольно задавал себе вопрос: зачем же было этому столь одаренному природой существу избирать занятие, при котором все его внешние достоинства оставались скрытыми?

Ответив на приветствие старика, он не обнаружил склонности продолжать разговор, и, хотя старший путник не отставал, видимо, наскучив одиночеством, оба теперь шли молча. Кругом нависла тишина — слышен был только свист ветра над рыжеватой травянистой порослью, скрип колес на дороге, шорох шагов обоих путников да топот копыт двух косматых лошадок, тащивших фургон. Это были низкорослые выносливые лошадки, помесь галовейской и экзетерской пород — в наших краях их называют вересковыми стригунами.

Время от времени охряник покидал своего спутника и, зайдя за фургон, заглядывал внутрь через маленько оконце. Вид у него всегда был при этом

тревожный и озабоченный. Потом он возвращался к старику, тот делал какое-нибудь замечание о погоде или состоянии пустоши, охряник отвечал все так же рассеянно, и снова оба умолкали. Они не испытывали неловкости от этого молчания; в таких пустынных местах случается, что путники после первых приветствий проходят бок о бок целые мили, не обмениваясь ни словом; простое соседство для них равносильно безмолвному разговору, потому что соседство это не вынужденное, как то часто бывает в городах; ему в любой момент может быть положен конец, и обиодная готовность его сохранить уже сама по себе есть общение.

Эти двое, возможно, так и не заговорили бы до самого расставанья, если бы охряник не наведывался так часто в свой фургон. Когда он в пятый раз вернулся к старику, тот спросил:

— У вас там еще что-то есть, кроме товара?

— Да.

— Кто-то, за кем нужно присматривать?

— Да.

Невдольгে после этого из фургона послышался слабый крик. Охряник поспешил к оконцу, заглянул и отошел.

— Ребенок у вас там, что ли?

— Нет, сэр. Женщина.

— Вон что! Чего же это она кричит?

— Да, видите, заснула она, а к езде непривычная, так и сон у нее беспокойный. Приснилось, наверно, что-нибудь.

— Молодая она?

— Да. Молодая.

— Сорок лет назад меня бы это заинтересовало.

Может, она ваша жена?

— Жена! — с горечью сказал охряник. — Нет, она не для таких, как я. Но я не вижу, почему я должен вам про это рассказывать.

— Верно. Но почему бы и нет? Что я плохого могу сделать вам или ей?

Охряник долгим взглядом посмотрел в лицо старику.

— Что ж, сэр, — сказал он наконец, — я, правда, знал ее и раньше, хоть, может, лучше было бы не знать. Но она мне никто, и я ей никто, и она не была бы в моем фургоне, кабы там нашелся для нее экипаж получше.

— Где это, можно спросить?

— В Энглбери.

— А, я хорошо знаю этот городок. Что она там делала?

— Да ничего такого, чтобы нам ее пересуживать. В общем, устала она до смерти, да и нездоровится ей, от этого она такая беспокойная. Час назад задремала, авось теперь ей полегчает.

— И красивая девушка, наверно?

— Пожалуй, что и красивая.

Старик с любопытством поглядел на оконце и, не отрывая от него глаз, спросил:

— Можно мне взглянуть?

— Нет, — коротко ответил охряник. — Уже темнеет, вы все равно не увидите, да, кроме того, я и права не имею вам разрешать. Сейчас она, слава богу, крепко спит, — хорошо бы, до самого дома не проснулась.

— Да кто она такая? Из местных кто-нибудь?

— Не важно кто, сэр, простите.

— Уж не та ли девушка из Блумс-Энда, о которой у нас в последнее время столько говорили? Если так, то я ее знаю и догадываюсь, что случилось.

— И это тоже не важно... Извините, сэр, боюсь, теперь нам придется расстаться. Мои лошадки притомились, а ехать еще далеко, хочу дать им часок отдохнуть вон под тем пригорком.

Старший путник равнодушно кивнул, и охряник завернулся лошадей и фургон в сторону от дороги, пожелав старику доброй ночи. Тот ответил ему таким же пожеланьем и продолжал свой путь.

Охряник долго смотрел ему вслед, пока фигура старика не превратилась в крохотное пятнышко и не растаяла в сгущавшейся вечерней мгле. Потом он достал сена из охапки, привязанной под фургоном, насыпал кучку перед лошадьми, а остальное положил возле фургона и сам усился на эту подстилку, прислонясь к колесу. Из фургона слышалось теперь тихое, ровное дыханье. Это, по-видимому, его успокоило, и он стал раздумчиво оглядываться по сторонам, как бы соображая, какой следующий шаг ему предпринять.

В этот сумеречный час в эгдонских долинах только так и можно было что-нибудь делать — постепенно, обдуманно, шаг за шагом, потому что в самой пустоши в это время проявлялось что-то похожее на медлительное, осторожное, полное колебаний раздумье. Таково было свойство объемлющего ее в этот час покоя. Это не был абсолютный покой неподвижности, а только мнимый покой невероятно медленного движения. Здесь была здоровая жизнь, внешне сходная с оцепенением смерти, застылость пустыни и одновременно такая полнота сил, какая свойственна разве только цветущему лугу или даже лесу, — любопытнейшее в своем роде явление; и в тех, кто о нем думал, оно порождало ту утонченную внимательность, которая отличает обычно людей сдержаных и осторожных.

С того места, где сидел охряник, открывался широкий вид на уходившие вдаль склоны — почва постепенно, уступами и грядами, поднималась от уровня дороги к нагорью в глубине пустоши. Тут были увалы и лощины, гребни и отроги — они громоздились

один за другим, и все завершалось высоким холмом, ясно рисовавшимся на еще светлом небе. Взгляд путника некоторое время блуждал по всем этим неровностям и наконец остановился на самой примечательной из них. Это был курган. Круглый и выпуклый, резко отделяясь от окружавшей его гладкой взлобины, он венчал собой самую высокую и самую одиночную вершину всего нагорья. Хотя снизу, из долины, он казался всего лишь бородавкой на челе Атланта, действительные его размеры были довольно велики. Он служил как бы полюсом и осью всего этого одетого вереском мира.

Отдыхавший путник, все еще глядя на курган, заметил вдруг, что на его вершине, до сих пор составлявшей наивысшую точку всего нагорья, возвышается еще что-то. Маленькая человеческая фигура венчала полукруглый бугор, как острие шлема. И такой древностью, таким далеким прошлым веяло здесь от всего окружающего, что одаренный фантазией наблюдатель, пожалуй, склонен был бы увидеть в этой фигуре одного из тех кельтов, которые возвели этот курган. Казалось, последний из их народа еще медлил там в раздумье, задержавшись на миг, перед тем как кануть в вечную ночь вместе со всем своим племенем.

Он стоял там, этот неведомый человек, недвижимый, как холм у него под ногами. Над равниной возвышался холм, над холмом — курган, над курганом — эта фигура. А над ней — уже только то, что могло быть нанесено на небесную карту.

Такую совершенную, изящную и необходимую законченность придавала эта фигура темному нагромождению холмов, что казалось, именно она связывает их очертания воедино. Без нее это был бы купол без фонаря верхнего света, с ней архитектурные требования были удовлетворены. Во всем этом ландшаф-

те была какая-то удивительная однородность. Долина, нагорье, курган и фигура на нем составляли неразрывное единство. Обратив взгляд на то или другое в отдельности, вы сразу понимали, что перед вами не целое, а всего лишь осколок.

Эта фигура так органично вырастала из увенчанного ею холмистого массива, что, шевельнувшись она, это показалось бы совершенно невероятным. Неподвижность была характернейшей чертой того стройного целого, в которое она входила как часть, и нарушение неподвижности в какой-либо из его частей, казалось, должно было тотчас же превратить его в хаос.

Однако именно это и произошло. Фигура заметно двинулась, переместилась в сторону на шаг либо два, повернулась. Словно чем-то вспугнутая, она скользнула по правой закраине кургана, как дождевая капля по бутону, и исчезла. При движении отчетливее обрисовались ее контуры, и стало ясно, что это женщина.

Причина ее внезапного бегства тут же объяснилась. Едва она исчезла с правой стороны, как с левой возник на фоне неба темный силуэт человека с ношой на плечах. Он поднялся по склону и сложил свою ношу на вершине кургана. За ним появился другой, третий, четвертый, пятый, и вскоре весь курган был усеян фигурами с ношой на плечах.

Из этой пантомимы китайских теней можно было понять, что женщина, стоявшая здесь раньше, не имела отношения к тем, кто занял ее место, она даже избегала встречи с ними, и цель у нее, очевидно, была иная. Но эта исчезнувшая одинокая фигура больше говорила воображению, чем пришедшие ей на смену, она казалась более интересной и значительной, как будто таила в себе историю, которую стоило узнать, и новые пришельцы были тут всего лишь досадной помехой. Однако они остались и, судя по всему, рас-

положились надолго, а та, кто до сих пор была царицей одиночества, видимо, пока что не собиралась вернуться.

ГЛАВА III Местный обычай

Если бы наблюдавший все это путник находился возле самого кургана, он распознал бы в этих людях поселян — взрослых мужчин и мальчиков — из соседних деревень. Каждый, поднимаясь по склону, нес четыре больших вязанки дрока — две спереди, две сзади, что достигалось с помощью двух длинных, положенных на плечи палок, на заостренные концы которых и были наткнуты эти вязанки. Все это они таскали на себе добрую четверть мили, из дальней части пустоши, заросшей почти исключительно дроком.

За такими огромными вязанками человека даже не было видно, пока он не сбрасывал ношу, — казалось, идет куст на двух ногах. Двигались они гуськом, в том же порядке, как овцы в стаде, то есть старшие и более сильные впереди, те, что помоложе и послабее, — сзади.

Наконец, все вязанки были сложены, и на макушке кургана — он на много миль кругом был известен под прозвищем Дождевого кургана — выросла пирамида из дрока в тридцать футов окружностью. Теперь одни готовили спички и выбирали самые сухие пучки дрока, другие распутывали плети ежевики, которыми были скреплены вязанки. А кое-кто, пока шли эти приготовления, посматривал по сторонам, озирая обширное пространство, открывавшееся с этой высоты и уже тонувшее во мраке. В эгдонских долинах ничего не увидишь вокруг, кроме угрюмого лика самой пустоши, — здесь же кругозор был так широк,

что охватывал и окрестные села, лежавшие за пределами Эгдона. Ничего в отдельности сейчас уже нельзя было разглядеть, но все вместе ощущалось как смутные, затаившиеся в темноте дали.

Пока мужчины и мальчики готовили костер, в тех уплотнениях тьмы, которыми обозначались эти дальние селения, произошла перемена. Там и сям стали вспыхивать маленькие красные солнца и хохолки света, пестря огнями темную равнину. То были костры в других приходах и деревнях, где люди тем же способом отмечали праздник. Одни костры, очень далекие и зажженные в сырых низинах, глухо просвечивали сквозь туман, так что видны были только расходящиеся веером бледные лучи, похожие на пук соломы; другие, близкие и яркие, кроваво рдели, как раны на черной шкуре. Были среди них Менады с багровыми от вина лицами и развеивающимися волосами. Эти бросали отсветы на молчаливое лоно облаков и, озаряя разверстые в нем воздушные пещеры, превращали их в кипящие котлы. Во всей округе можно было насчитать до тридцати костров, и так же, как при плохом свете можно по положению стрелок на циферблате узнать час, хотя цифры и неразличимы, так и люди на холме по направлению и углу безошибочно определяли, в какой деревне горит костер, хоть самой деревни и не могли видеть.

Высокий огненный язык внезапно взвился над Дождевым курганом, и все, кто еще смотрел на дальние чужие костры, поспешили вернуться к тому, который был создан их собственными стараниями. Веселое пламя расписало золотом внутреннюю сторону этого людского круга, пополнившегося теперь еще новыми запоздалыми пришельцами, мужчинами и женщинами, и даже на темный вереск позади них набросило дрожащее сияние, которое редело и гасло там, где бока кургана закруглялись и уходили вниз.

Стало видно, что курган представляет собой половинку шара, такую же аккуратную, как в тот день, когда его только что насыпали; сохранилась даже кольцевая канавка на том месте, откуда брали землю. Плуг никогда не тревожил этой скучной почвы. В ее негодности для фермера таилось ее богатство для историка. Ничто тут не было стерто, потому что не было ухожено.

Люди, озаренные пламенем костра, как будто стояли в каком-то верхнем ярусе мира, отдельном и независимом от темноты внизу. Со всех сторон их окружала бездна — так чудилось им оттого, что взглядел, привыкший к свету, не проникал в эти черные глубины. Иногда, правда, случалось, что взревевшее с неизвестной силой пламя забрасывало туда быстрые отблески, словно высыпало разведчиков в неведомую страну, и тогда какой-нибудь куст на дальнем склоне, озерцо, участок белого песка на миг ответно вспыхивал таким же красноватым огнем, а затем снова все терялось во мраке. Тогда казалось, что вся эта нижняя бездна — это преддверие Ада, такое, каким узрел его в своих видениях божественный флорентиец, когда заглянул туда, склонившись над краем; и в бормотании ветра по лощинам слышались жалобы и мольбы «могучих душ», обреченныхечно парить там в пустоте.

Эти мужчины и мальчики из соседней деревни словно бы вдруг нырнули в глубь столетий и вынесли оттуда какой-то завет седой древности, ибо то, что они сейчас делали, уже не раз вершилось в этот же час и на этом месте. Пепел от жертвенных огней древних бриттов еще лежал, чистый и нетронутый, под темным дерном кургана. Погребальные костры более поздних лет точно так же бросали отсветы на окрестные низины. Празднества в честь Тора и Одина пришли им на смену и отсияли в положенное время. Те-

перь уж можно считать установленным, что в этих осенних кострах, одним из которых наслаждались сейчас поселяне, следует видеть прямое наследие друидических ритуалов и саксонских похоронных обрядов, а вовсе не воспоминание народа о Пороховом заговоре.

А кроме того, осенью всякого тянет разжечь костер. Это естественное побуждение человека в ту пору, когда во всей природе прозвучал уже сигнал гасить огни. Это бессознательное выражение его непокорства; стихийный бунт Прометея против слепой силы, повелевшей, чтобы каждый возврат зимы приносил непогоду, холодный мрак, страдания и смерть. Надвигается черный хаос, и скованные боги земли возглашают: «Да будет свет!»

Яркие блики и черные как сажа тени, падая на лица и одежду стоявших вокруг людей, придавали всей этой сцене чисто дюреровскую резкую выразительность. Но уловить подлинный склад каждого лица, так сказать, его постоянный нравственный облик, было невозможно, — быстрые языки пламени взвивались, кивали, разлетались в воздухе, пятна теней и хлопья света беспрестанно меняли место и форму. Все было неустойчиво — трепетно, как листва, и мимолетно, как молния. Впадины глазниц, только что глубокие и пустые, как в голом черепе, вдруг до краев наливались блеском; худая щека миг назад была темным провалом, теперь она сияла; изменчивый луч то углублял морщины, то совершенно их сглаживал. Ноздри казались черными колодцами, жилы на старческой шее — позолоченным лепным орнаментом, то, что по природе своей было лишено лоска, вдруг покрывалось глазурью, а блестящие предметы, например серп для резки дрока в руках у одного из поселян, становились прозрачны, как стекло; глаза вспыхивали, словно фонарики. Те, кого природа наделила

сколько-нибудь необычной внешностью, превращались в уродов, уроды — в чудовищ, ибо все было доведено до крайности.

Возможно потому, что лицо старика, которого веселый огонь тоже выманил на вершину, вовсе не состояло из одного только носа и подбородка, как этоказалось. Он стоял у самого костра, нежась в тепле, словно у печки, и длинным пастушеским посохом подгребал в огонь разбросанные вокруг остатки хвороста. Иногда он поднимал глаза, измеряя высоту пламени и следя за полетом искр, которые тоже взвивались вверх в токе горячего воздуха и упливали в темноту. Яркий свет и оживляющее тепло мало-помалу привели его в веселое настроение, а потом и в восторг. С посохом в руке он принялся в одиночку выплясывать жигу, отчего грохь медных печаток на цепочке, свисавшей из-под его жилета, сверкала и раскачивалась, как маятник. Он даже затянул песню — хлипким тоненьким голоском, похожим на жужжение пчелы в дымоходе:

— Пойду я к королеве, граф,
Войду в ее покой
И исповедую ее,
И ты пойдешь со мною.

Надень монашеский наряд,
И я надену тоже,
И к королеве мы с тобой
Войдем, как люди божьи.

Но на втором куплете он задохнулся, и песня оборвалась. Это привлекло внимание плотного мужчины средних лет, который стоял у костра, прочно утвердившись на толстых ногах и крепко вжав в щеки опущенные книзу углы рта, словно желая отвести от себя малейшее подозрение в склонности к подобному же легкомыслию.

— Славная песня, дедушка Кентл, — проговорил он, обращаясь к морщинистому весельчаку, — да только не под силу твоим старииковским легким. Что, дед, небось хочется, чтоб тебе опять было три раза по шесть, как тогда, когда ты только учил эту песню?

— А? Чего? — отозвался дедушка Кентл, прекрасно пляску.

— Я говорю, хотел бы ты снова стать молодым? А то нынче, похоже, в мехах у тебя дырка. Голосу-то уж нету!

— Зато уменье есть. Вот кабы не умел я спеть да сплясать, ну тогда был бы я не моложе самого старого старика. А так я еще молодцом, а, Тимоти?

— Ну а как наши новобрачные — там, в гостинице «Молчаливая женщина»? — осведомился его собеседник, указывая на тусклый огонек, светившийся в низине за большой дорогой, но на порядочном расстоянии от того места, где сейчас отдыхал охряник. — Правда ли, нет ли, что у них что-то не заладилось? Ты бы должен знать, ты же человек толковый.

— Хоть малость и гуляка? Есть такой грешок, всегда за мной водился. Да это беда небольшая, сосед Фейруэй, с годами пройдет.

— Я слыхал, они хотели сегодня вернуться. Сейчас уж, наверно, дома. А дальше ничего не знаю.

— Так надо бы пойти их поздравить!

— И совсем это ни к чему.

— Да отчего же, пойдем! Я-то уж непременно пойду. Где веселье, там я первый!

Твоим приказам, мой король,
Я повинуюсь свято,
Но королева пред тобой
Ни в чем не виновата.

— Я вчера встретил миссис Ибрайт, невестину тетку, и она мне сказала, что ее сын, Клайм, приезжает домой на Рождество. Ох, и дошлый парень этот Клайм!

Ученый! Мне бы столько всего знать, сколько у него в голове припрятано! Ну, я поболтал с ней, шуточку отпустил одну-другую, как водится, а она посмотрела на меня и говорит: «Господи, — говорит, — на вид то какой почтенный, а послушать — дурень!» Да мне-то что, я ей так и сказал, я, мол, твои слова ни во что не ставлю, вот тебе! Ловко я ее отбрала, а?

— По-моему, это она тебя отбрала, — сказал Фейруэй.

— Да что ты! — испуганно откликнулся дедушка Кентл, сразу потеряв весь свой апломб. — Это что ж, по-твоему, выходит, я такой и есть, как она сказала?..

— Выходит, что так. А Клайм, стало быть, из-за этой свадьбы и приезжает? Чтобы мать не оставалась одна в доме?

— Ну да, ну да, из-за этого. Нет, а ты послушай, Тимоти! Я, правда, шутник, все знают, да ведь могу и по-серьезному разговаривать. Хочешь, все тебе расскажу про эту парочку? Вот послушай. Они, точно, сегодня утром в шесть часов в город поехали венчаться, и больше уж их никто не видал, да небось к вечеру воротились, и теперь уже мужчина и женщина, — то есть, тыфу! — муж и жена. Что, разве плохо я рассказал? И разве не видишь теперь, что миссис Ибрайт ошиблась?

— Да ладно уж, хорош! А я и не знал, что они опять за прежнее взялись — даром что мать ей запретила... И давно это у них сызнова пошло? Ты не знаешь, Хемфри?

— Да! Давно ли? — с важностью вопросил дедушка Кентл, тоже поворачиваясь к Хемфри. — Отвечай-ка!

— А с тех самых пор, как ее мать, то бишь тетка, передумала и сказала, пусты, мол, уже выходит за него, коли ей охота, — отвечал Хемфри, не отрывая глаз от огня. Это был несколько мрачный молодой человек, очевидно промышлявший резкой дрокой, потому

что под мышкой у него был серп, на руках кожаные перчатки, а на ногах толстые краги, твердые, как медные поножи филистимлянина. — Оттого, наверно, они и решили обвенчаться в другом приходе. А то миссис Ибрайт столько тогда шуму наделала, в церкви-то во время оглашения, смешно было бы после этого тут же у нас свадьбу устраивать.

— А конечно, смешно, да и тем-то бедняжкам вроде как стыдно, — это я, впрочем, так, догадываюсь, а там кто их знает, — рассудительно заметил дедушка Кентл, все еще стараясь сохранить солидный вид и осанку.

— Да, я сам был в тот день в церкви, — сказал Фейруэй. — Чуднó, а? Я ведь нечасто туда хожу.

— Где уж нам часто ходить, — с жаром подхватил дедушка Кентл. — Я все лето сбирался, а теперь зима на носу, так уж вряд ли соберусь.

— Я три года не бывал, — сказал Хемфри. — По воскресеньям больно спать хочется, а идти далеко, да еще раздумаешься — ну, положим, я потружусь, схожу, так неужто за это меня допустят в Царствие Небесное, когда стольких не допускают, ну и останешься дома и никуда не пойдешь.

— А я вот был, — с твердостью заявил Фейруэй, — и не только был, а еще и сидел на одной скамье с миссис Ибрайт. И хотите — верьте, хотите — нет, а у меня кровь застыла в жилах, когда я услышал, что она говорит. Да, прямо кровь застыла, вот как! Я же сидел с ней рядом. — Рассказчик оглядел присутствующих, теперь подошедших ближе, чтобы послушать, и еще плотнее, чем всегда, сжал губы, как бы подчеркивая этим строгую точность своего описания.

— Ах, страсти!.. — вздохнула какая-то женщина сзади.

— Только что пастор сказал: «Если есть возражения против этого брака, заявите», — продолжал Фейруэй, — как вдруг встает женщина рядом со мной,

у самого моего локтя. «Будь я проклят, коли это не миссис Ибрайт», — говорю я себе. Да, соседи, даром что в храме Божьем, а именно так я сказал. Сами знаете, нет у меня такой повадки, чтобы клясться и ругаться, и которые тут есть женщины, пусть сейчас на меня не обижаются. Но что я сказал, то сказал, скрывать не хочу, — ведь если б я скрыл, это была бы ложь.

— Верно, верно, сосед Фейруэй.

— «Будь я проклят, коли это не миссис Ибрайт», — говорю я себе, — повторил рассказчик, непреклонной строгостью лица и тона показывая, что повторение вызвано исключительно необходимостью, а отнюдь не желанием посмаковать кощунственные слова. — И вдруг слышу, она говорит: «Я запрещаю этот брак!» — «Хорошо, мы с вами поговорим после службы», — отвечает пастор, да так спокойно, совсем по-домашнему, будто и не священник, а простой человек и святости в нем не больше, чем во мне или в вас. А она стоит, — ни кровинки в лице. Может, помните, в Уэзербери в церкви есть памятник — солдат сидит, ногу на ногу положил? Еще мальчишки у него нос отбили? Вот и она такая же была белая, когда сказала: «Я запрещаю этот брак!»

Слушатели прокашлялись и подбросили хворостинок в огонь, — не потому, что в том была надобность, но чтобы дать себе время извлечь мораль из этого рассказа.

— А я, как узнала, что им нельзя пожениться, так-то обрадовалась, словно мне шестипенсовик подарили, — послышался робкий голос. Это говорила Олли Дауден, бедная женщина, кормившаяся тем, что вязала на продажу веники и метлы из вереска. Она всегда была вежлива и с друзьями и с недругами, признательная всему миру уже за одно то, что ей позволяли оставаться в живых.

— А теперь она все равно за него вышла, — сказал Хемфри.

— После того, как миссис Ибрайт передумала и дала согласие, — закончил Фейруэй с независимым видом, как будто его слова были не просто повторением того, что еще раньше сказал Хемфри, но плодом его собственных размышлений.

— Ну, пусть даже им стыдно, а я все ж таки не понимаю, почему было не сыграть свадьбу здесь, у нас, — сказала дебелая женщина, у которой корсет скрипел, словно новенькие ботинки, всякий раз, как она поворачивалась или наклонялась. — Плохое ли дело — собрать соседей да повеселиться, хоть об Рождество, хоть на свадьбе. Другой бы рад был угощенье людям сделать, а эти на-ка, все тайком да втихомолку. Не люблю этаких скрытных.

— А я, хотите верьте, хотите нет, не люблю веселых свадеб, — веско заявил Тимоти Фейруэй, снова обводя строгим взглядом присутствующих. — И признаюсь, не осуждаю Томазин Ибрайт и соседа Уайлдива за то, что они все слишком проделали. Ведь свадьба это что значит? То тебе жига, то рил, хочешь не хочешь, а становись в круг. А ногам-то оно накладно, когда тебе уже за сорок.

— Да уж на свадьбе не откажешься, надо же отплатить хозяевам за угощенье!

— На Святках пляши, потому что раз в году, на свадьбах пляши, потому что раз в жизни. Даже на крестинах, ежели по первому либо по второму ребенку, так и то норовят один-два рила всунуть. А сколько еще петь приходится!.. Нет, по мне, всего лучше хорошие похороны. Угощенье не беднее, чем на свадьбе, а то и побогаче. А ногам покойнее. Посидеть за столом да потолковать об усопшем — это же не то что хорнпайп отхватывать!

— А потанцевать на похоронах, значит, никак нельзя? Пожалуй, люди скажут, это, мол, уж значит

чуток перестарайся, как ты считаешь, Тимоти? — любознательно осведомился дедушка Кентл.

— Да, только там может степенный человек без опаски смотреть, как кувшин ходит в круговую.

— Не понимаю все-таки, как Томазин Ибрайт на этакую сквердность согласилась, — начала снова Сьюзен Нонсеч, дебелая толстуха, возвращаясь к своей прежней теме. — Ведь какая девушка хорошая, совсем как барышня, а свадьба — ну хуже, чем у голытьбы последней! Да и жених-то — разве бы ей такого надо? Только и есть в нем, что из себя пригляден.

— Э нет, не скажи, он парень ловкий, а по учестности, пожалуй, самому Клайму Ибрайту не уступит. Не к тому его готовили, чтоб в трактире стоять за стойкой. Вы же знаете, он инженером был, да сбился с пути, так, чтобы с голоду не пропасть, и взял за себя эту гостиницу. Ученье впрок не пошло!

— Ох, это часто бывает, — вздохнула Олли, та смиренница, что вязала метлы. — А все ж таки учатся все, да и выучиваются. Посмотришь на иного, — раньше, хоть ты его режь, не сумел бы кружочка на бумаге вывести, а теперь, гляди-ка, уже фамилию свою подписывает, и перо у него не брызнет, даже, бывает, кляксы ни одной не посадит. Да что — стол даже ему не надобен, чтобы локти разложить и животом упереться, — так, стоя, и пишет!

— Это верно, — сказал Хемфри. — До чего народ стал полированный!

— Да хоть меня взять, — подхватил дедушка Кентл. — Пока не пошел я в ополченье в восемьсот четвертом году, не послужил в солдатах, так такой же был телепень, как вы все. А теперь меня хоть куда поверни, нигде не оплошаю!

— Да, кабы ты годился еще в женихи, — сказал Фейруэй, — так теперь-то сумел бы расписаться в церковной книге. Не то что наш Хемфри, он-то насчет

грамоты по отцу пошел. Помню, Хем, когда я женился, только взял я перо, гляжу, строчкой выше крест наляпан — зда-аровый, руки в стороны, как у чучела, это твои родители как раз перед нами венчались, и отец, стало быть, свой знак поставил. Ох и страшный был крест, черный, голенастый, ни дать ни взять твой батюшка. Не выдержал я, прыснул со смеху, хоть еле дышал от жары, — запарился я с этой свадьбой, а тут еще жена на руке виснет, а Джек Чангли с ребятами в окошко на нас таращатся, зубы скалят. Да тут же подумал я, что вот ведь они и недавно женились, а уже чуть не каждый день ругаются, а теперь я, дурак, в такую же кашу лезу, так, верите ли, в озноб кинул!.. Да-а, это был денек!

— Уайлдив и годами постарше Томазин Ибрайт. А она к тому ж и собой хороша. Молодой девушке такому человеку на шею бросаться — это уж надо совсем дурой быть.

Эту тираду произнес недавно подошедший к костру торфяник; он держал на плече широкую сердцевидную лопату — обычное орудие торфореза, — и в отблесках от костра ее навостренный край сверкал, как серебряный лук.

— Сотня к нему прибежит, только бы кликнул, — проворчала толстуха.

— А ты, сосед, видал когда-нибудь мужчину, за которого бы ни одна женщина не пошла? — спросил Хемфри.

— Я? Нет, не видал, — ответил торфяник.

— Ни я, — сказал кто-то.

— Ни я, — сказал дедушка Кентл.

— А я вот видел, — изрек Тимоти Фейруэй, еще тверже упираясь ногой в землю. — Знавал я такого. Но только одного, заметьте. — Он громогласно прокашлялся, как будто опасался, что слова его могут не дойти до слушателей из-за неясности произ-

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Роман. Перевод О. Холмской

Вступление	5
------------------	---

Книга первая. ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Глава I. Лицо, на котором время оставляет мало следов	7
Глава II. На сцене появляется человек и с ним тревоги	12
Глава III. Местный обычай	20
Глава IV. Остановка на большой дороге	45
Глава V. Сложное положение	51
Глава VI. Фигура на фоне неба	67
Глава VII. Царица ночи	84
Глава VIII. Кого находишь там, где, говорят, никого нет	92
Глава IX. Любовь учит стратегии	98
Глава X. Безнадежная попытка	110
Глава XI. Бесчестность честной женщины	121

Книга вторая. ПРИБЫТИЕ

Глава I. Первые вести о приезжающем	132
Глава II. В Блумс-Энде готовятся	138
Глава III. Как малый звук породил большую мечту	143
Глава IV. Юстасия пускается на авантюру	149
Глава V. В лунном свете	161
Глава VI. Они встречаются лицом к лицу	169
Глава VII. Союз между красавицей и пугалом	183
Глава VIII. В нежном сердце обретается твердость	194

Книга третья. ОКОЛДОВАН

Глава I. Мой ум есть царство для меня	207
Глава II. Его решение вызывает споры	213

Глава III. Первый акт вековечной драмы	224
Глава IV. Один час блаженства и сто печали	241
Глава V. Они обмениваются резкими словами, и дело доходит до разрыва	251
Глава VI. Ибрайт уходит, и это уже полный его разрыв с матерью	260
Глава VII. Утро и вечер одного дня	269
Глава VIII. Новая сила меняет ход событий	285
 Книга четвертая. ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ	
Глава I. Встреча у пруда	295
Глава II. Беды осаждают его, но он поет песенку	303
Глава III. Она решает бороться с унынием	315
Глава IV. Применяется насилие	330
Глава V. Она идет через пустошь	339
Глава VI. Стечение обстоятельств и его последствия	345
Глава VII. Трагическая встреча двух старых друзей	358
Глава VIII. Юстасия слышит о чужой удаче и предвидит для себя беду	367
 Книга пятая. РАЗОБЛАЧЕНИЕ	
Глава I. «На что дан страдальцу свет...»	377
Глава II. Зловещий свет пронзает темное сознание	386
Глава III. Юстасия одевается в недобroe утро	398
Глава IV. Попечения того, кто был наполовину забыт	407
Глава V. Старый прием, нечаянно повторенный	413
Глава VI. Томазин спорит со своим двоюродным братом, и он пишет письмо	421
Глава VII. Ночь шестого ноября	429
Глава VIII. Дождь, тьма и встревоженные путники	439
Глава IX. Свет и звуки сводят путников вместе	451
 Книга шестая. ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ	
Глава I. Неизбежное движение вперед	464
Глава II. Томазин гуляет в зеленой ложбинке возле римской дороги	475

Глава III. Клайм ведет серьезный разговор со своей двоюродной сестрой	479
Глава IV. Веселье снова утверждается в Блумс-Энде, а Клайм находит свое призвание	485
Комментарии. <i>Н. Демурова, О. Холмская</i>	498